

ДЖЕЙН ДЖОНСОН



ВОРОТА К МОРЮ

*Старый дом, две женщины.
И тайна, объединившая их жизни*



18+



ЭТА КНИГА ОТПРАВИТ ВАС В ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕГО
В ПРОШЛОЕ, ГДЕ ЖДУТ ДАВНО ПОХОРОНЕННЫЕ СЕКРЕТЫ,
ЛЮБОВЬ И МНОЖЕСТВО ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Барбара Эрскин

Джейн Джонсон

Ворота к морю

Серия «Иностранка. Роман с историей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73979652

*Ворота к морю: Иностранка, Издательство АЗБУКА; Москва; 2026
ISBN 978-5-389-33183-9*

Аннотация

После похорон матери Ребекка разбирает вещи в опустевшей квартире и случайно обнаруживает конверт со штемпелем Корнуолла. Внутри – отчаянная просьба ее престарелой тетушки Оливии: привести в порядок старый дом, иначе старушку ждет выселение. Совершенно потерянная после смерти матери, Ребекка решает отправиться в Корнуолл. На месте женщину ждет неприятный сюрприз: Оливия попала в больницу, и выписать ее смогут только после ремонта дома! Оробевшая Ребекка тем не менее решительно берется за дело. Ей мешает все: нехватка денег, попугай-сквернослов, вечно недовольные соседи... Однако по мере того, как со стен слой за слоем сходит краска, штукатурка и вековая грязь, Ребекке открываются тайны, похороненные более семидесяти лет назад. Тайны времен, когда за окнами бушевала война, но в венах молодой Оливии кипела кровь и любовь и страсть заглушали страх... Занимаясь ремонтом, Ребекка по

кирпичику восстанавливает историю жизни Оливии, отстраивая при этом и саму себя.

Содержание

Глава 1	8
Глава 2	32
Глава 3	47
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Джейн Джонсон

Ворота к морю

Jane Johnson
THE SEA GATE

Copyright © Jane Johnson, 2017
All rights reserved

© О. В. Полей, перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление

* * *

ИНОСТРАНКА

РОМАН С ИСТОРИЕЙ

ДЖЕЙН ДЖОНСОН

ВОРОТА
к морю

Издательство «Иностранка»
Москва

*Ведь любовь – даже жгучая – вянет, как роза
Иль как водоросль в море, что с розой сходна.
Разве мертвые любят еще своих милых?
Выживает ли страсть в гробовой глубине?
Нет: любовь им чужда, как траве на могилах
Или волне.*

*Здесь люди и розы смешались друг с другом,
Их забыли кусты и просторы полей,
И дыхание времени веет над лугом,
Лишь мечтая, чтоб лето пришло поскорей.*

Алджернон Чарльз Суинберн. Покинутый сад¹

¹ Перевод Г. Бена.

Глава 1

Бекки

Я отнимаю телефон от уха, обрываю связь и стою, уставившись на отпечатавшийся на темном экране след жирного крема и пудры – косметики, которой я обычно почти и не пользуюсь. Стираю пятно большим пальцем и убираю телефон в карман пиджака. Трудно осознать смысл слов, только что звучавших у меня в ухе.

«При исследовании кое-что обнаружили...»

Напротив, по другую сторону улицы, две женщины продолжают громко выяснять отношения: их перепалка началась как раз в тот самый миг, когда у меня зазвонил телефон. Женщина на красной машине встала на парковочное место, которое как раз собиралась занять другая женщина, ехавшая задним ходом на грязном внедорожнике. Движение рядом с ними замерло: люди останавливаются поглазеть на скандал. Некоторые выступают в поддержку той или другой стороны. Летят в обоих направлениях запальчивые реплики, щелкают камеры телефонов. Еще минуту назад и меня могла бы увлечь эта бурная маленькая драма. Теперь же она кажется нелепостью. Так и тянет перебежать через дорогу и сказать женщинам: жизнь слишком коротка, чтобы злиться из-за таких пустяков! Однако я не двигаюсь с места. Я словно вы-

рвана из этого мира. Слова, только что услышанные по телефону, жужжат в голове, будто разгневанные пчелы, а потом уносятся прочь, оставив после себя горечь и сожаление с ноткой страха.

«Возможно, ничего страшного и нет, но необходимо проверить еще раз, просто чтобы убедиться...»

«Маме нужно сказать», – думаю я и тут же вспоминаю, почему я здесь. Маме я больше ничего не смогу рассказать, никогда в жизни.

Пригородный автобус дважды сердито сигналист, возвращая меня в реальность, и я наблюдаю, как женщина на грязном внедорожнике, признав поражение, отъезжает, скрипя шинами по асфальту. Людской поток устремляется дальше, обтекая меня, а я все стою на углу – неподвижная точка, камешек в бурном ручье. Затем снова раздается гудок, и кто-то окликает меня по имени.

– Бекки? Давай скорей, мы опаздываем. Вот ей-богу же, бабам за рулем не место. Десять минут проторчал в этой чертовой пробке!

Это мой брат Джеймс в своем блестящем «лексусе», а рядом, на пассажирском сиденье, – его жена Иви. Сердце у меня обрывается. Рядом с Иви, с ее тщательно подобранным гардеробом и изысканными манерами, я и в лучшие-то времена чувствую себя какой-то побирушкой. Стыдясь своей плохо сидящей черной юбки, которую уже много лет не надевала, я забираюсь на заднее сиденье и натянуто улыбаюсь,

пряча за этой улыбкой ужас. Мой брат и его жена по сравнению со мной – словно другой биологический вид.

Похороны – тяжелое событие, и неважно даже, что именно связывает тебя с покойным. Ты в незнакомой обстановке, в непривычной одежде, прощаешься с человеком, который тебя уже не видит и не слышит, не знаешь, что делать – сесть или встать, и все эти ритуалы едва ли не мучительнее самой утраты. Непременно что-то выбьет тебя из колеи, что-то окажется не так: дежурное соболезнование священника, который твоего родного человека знать не знал, детский плач, внезапно врывающийся в раздумчивую тишину, фальшивая нота в погребальном гимне... И все это время ты одна со своими мыслями, твоя связь с ушедшим вдруг истончается до такой степени, что становится похожа на трепещущую в воздухе паутинку, и ты уже сама не знаешь, кто ты. А потом, так же внезапно, тебя охватывает почти невыносимая тоска от осознания быстротечности жизни, и ты замечаешь, как дрожат у тебя руки: так, что слова гимна на странице расплываются перед глазами. И в душу закрадывается сомнение: а так ли искренне ты скорбишь по матери, не примешивается ли к этой скорби крупичка-другая эгоистичной жалости к себе, приправляющая это горестное событие ужасом перед бренностью твоего собственного бытия?

Когда отпевание заканчивается, я оглядываюсь вокруг. Кроме Джеймса и Иви, я узнаю только парочку маминых друзей из ассоциации «Рамблерс» – мужчину в сопровож-

денин седовласой дамы в темно-красной шляпке с сетчатой вуалью, наверняка пролежавшей до этого в коробке не один десяток лет, со времен чьей-нибудь свадьбы, – и еще одно семейство из четырех человек: Розу, белокурую литовку, которая приходила помогать маме по хозяйству, ее мужа и двоих детей. С Розой мы потом коротко обнимаемся возле крематория, под яркими лучами солнца.

– Мне очень жаль вашу маму. Эта новость стала для меня ужасным сюрпризом. – Она вглядывается в меня. – Какая вы бледная! Как вы себя чувствуете, Бекки? – спрашивает она, и я отвечаю как всегда. Она заглядывает мне через плечо. – А где же ваш красавчик?

Хороший вопрос. Я чувствую, как отчаянная тоска по Эдди опалает меня изнутри, словно огнем. Бормочу что-то о неотложных делах и быстро меняю тему, стараясь принять бодрый тон:

– А как у вас с Лукасом, все хорошо? Вы хорошо выглядите! А девочки-то как выросли!

– Анна как раз заканчивает вторую ступень. Очень удачно для переезда.

– Вы переезжаете? Куда же?

Она смотрит на меня удивленно, как будто ответ разумеется сам собой.

– Домой, в Литву. Если честно, стало чувствоваться, что нам здесь уже не очень-то рады. К тому же Лукас говорит, что в энергетической компании для нас найдется хорошая

работа, так что самое время уезжать. – Она кладет мне руку на плечо. – Знаете, я бы приходила помогать Дженни почаще, если бы знала, что она больна. Не ради денег, вы же понимаете, – поспешно добавляет она. – Но она не говорила мне, что болеет.

– Она и нам не говорила, – отвечаю я.

Мамина смерть кажется чем-то нереальным. Почему я была так невнимательна во время наших с ней телефонных разговоров два раза в неделю? Кучу намеков, должно быть, упустила. Не колебалась ли она слегка перед ответом, когда я спрашивала, как она себя чувствует? Сам ответ всегда был один: «Хорошо, милая. Но это ладно, а ты-то как?», а я и не замечала, как она меняет тему. Мама всю жизнь ставила на первое место других, а не себя. Я даже не знала, что в последний раз она говорила со мной уже из больницы: она ведь отовсюду звонила с одного и того же мобильного телефона.

– Почему она не сказала нам, что так тяжело больна? – спросила я брата, когда он позвонил, чтобы сообщить ужасную новость.

Неловкая пауза.

– Мне сказала, – ответил он. – Но совсем недавно. Сказала, что сделать уже ничего нельзя, а у тебя и так забот хватает. Она знала, что я не стану квохтать, просто сделаю все, как она хочет.

Слово «квохтать» больно ранило меня. Я всегда вываливала на маму свои беды: кому же еще, как не маме, рассказы-

вать о своих самых потаенных страхах и ежедневных несчастьях? Всякий раз, когда случалось что-то ужасное, я думала: «Ну, по крайней мере, будет о чем поговорить с мамой», и отмечала забавные или мрачные детали, которыми уместно будет украсить свой рассказ.

Осознание этого тоже стало своего рода утратой: я скорбела не только по самой маме, но еще и по нашим с ней отношениям. Это было свидетельство того, какой слабой я, очевидно, была в маминых глазах. И теперь мне уже никогда ее в этом не разубедить.

* * *

На следующий день мы с Джеймсом и Иви едем на мамину квартиру, расположенную в самом верхнем этаже невзрачного здания на окраине Уорика. Джеймс поворачивает в замке запасной ключ и толкает дверь, но та поддается всего на несколько дюймов. Я опускаюсь на колени в пыль у порога, ощупываю раму и обнаруживаю, что открыть дверь мешает гора нераспечатанных писем. Я разгребаю их, пока дверь не поддается еще чуть-чуть и Джеймс не заходит внутрь. Я хочу встать, чтобы войти следом, но Иви опирается на мое плечо и перешагивает через меня, аккуратно ступая шипованными каблуками сапог из крокодиловой кожи на островки половиц, виднеющиеся посреди океана конвертов и рекламных листовок.

– Боже правый, – говорит она. – Любой другой подумал бы, что она умерла уже много лет назад.

Я ошеломленно гляжу в ее удаляющуюся спину.

Иви шагает по коридору, мельком бросив взгляд на картины в рамах и не сочтя их достойными внимания. Все верно, Иви, они едва ли стоят холстов, на которых написаны: ведь их писала я.

Я складываю письма стопкой, представляя, как мама лежит на больничной койке, а в почтовый ящик день за днем все сыплются и сыплются бессмысленные, тягостные напоминания о нормальной жизни. Ей было шестьдесят четыре года, она умерла неожиданно; разумеется, счета, письма и всякий спам продолжали приходить – никто не ожидал такой внезапной кончины. И вновь меня поразила чудовищность ее смерти. Я уже никогда не смогу позвонить ей просто так, чтобы спросить, видела ли она, какая сегодня большая луна, или уточнить рецепт булочек; никогда больше не буду ужинать с ней вместе на Рождество, мне никогда больше не придется тайком возвращать в «Маркс и Спенсер» не подошедшие подарки на день рождения. Никогда я не услышу от нее: «Не волнуйся, милая, я уверена, что это пустяки». Я шмыгаю носом и сглатываю слезы.

Джеймс снова появляется с рулоном черных мусорных пакетов, отрывает от него длинную полосу и протягивает мне.

– Держи. Иви, дай ей бог здоровья, разбирает мамину одежду.

Во мне вдруг вспыхивает негодование.

– А тебе не кажется, что стоило попросить об этом меня?

– Успокойся! Мы подумали, что тебе это будет слишком тяжело, вот Иви и вызвалась. Ты бы лучше спасибо ей сказала: у нее, сама знаешь, глаз наметанный. С первого взгляда видит, годится ли что на продажу, хотя она сразу сказала – скорее всего, большую часть придется отдать на переработку или в благотворительные магазины...

– Мама не виновата, что одевалась не так, как Иви хотелось бы. Отец от нее ушел вместе с деньгами и успел спустить все на любовницу, пока копыта не откинул!

Джеймс переминается с ноги на ногу.

– Не надо так выражаться, женщине это не к лицу.

– «Женщине не к лицу», – передразниваю я, глядя ему в спину. С каких это пор мой брат стал таким ханжой? Наверное, с тех самых, как Иви за него взялась.

Собрав письма в охапку, я уношу их в гостиную, где сваливаю на кофейный столик, и при этом маневре они сшибают на пол фотографию в рамке. Джеймс поднимает ее, долго смотрит, а затем протягивает мне. Фотография выцвела до охристого и бледно-голубого – цвета старой фотопленки «Кодак». На ней мы вчетвером, мама, папа, Джеймс и я, стоим перед живой изгородью и старыми воротами, а за нами – сияющий простор моря, уходящий в бесконечность. Нам с Джеймсом на вид лет по восемь. Никто бы в жизни не догадался, что мы близнецы. Мы и внешне не похожи друг на

друга, и общего у нас всегда было немного. Едва мы сформировались как маленькие личности, семья разделилась по половому признаку: мы с мамой, светловолосые интроверты со страстью к книгам и растениям, и Джеймс с папой – темноволосые, уверенные в себе, шумные, вечно исчезающие по своим мужским делам. Это фото – окно в ушедшую эпоху.

«Интересно, кто же снимал? – размышляю я. – Очевидно, эта фотография много значила для мамы, но я не припоминаю, где и когда она сделана».

Джеймс пожимает плечами, не проявляя интереса.

– Это можно выбросить. Рамка-то пластиковая.

– Я ее себе возьму.

Я отгибаю черные металлические скобки сзади, чтобы вынуть драгоценное фото из рамки, а Джеймс уже занят другим делом: открывает шкафы и громко удивляется при виде того, чем они набиты.

Мама переехала в эту квартиру, когда они с папой развелись. Заявила: ей нравится, что это жилище такое маленькое, изящное, как ювелирное украшение, и ухаживать за ним гораздо легче, чем за их большим старым домом с четырьмя спальнями. Я приняла это за чистую монету, обманувшись свежеевыкрашенными стенами, яркими занавесками и ковриками, и никогда не замечала, что большие ковры под этими ковриками истерлись до дыр, что в ванной и в спальне под окном завелась плесень и что вся эта атмосфера ветхости и заброшенности – отражение маминого состояния. Оглянув-

шпись на Джеймса, я увидела, что от сырости отвалился солидный кусок карниза. Должно быть, он упал недавно, раз остался необрунным: видимо, до тех пор как-то держался, а как только мамы не стало, взял и рухнул.

– Если ты займешься почтой, я загляну в ее письменный стол, поищу документы, которые нам понадобятся для признания завещания. Просто выброси весь мусор, оставь только официальные письма и счета.

С этими словами он выходит в гостевую комнату. Из-за двери доносится лязг вешалок и деловитое шуршание сброшенной с них одежды, которую засовывают в мусорные мешки.

Мальчикам своя работа, девочкам – своя.

Я перевожу взгляд на грудку писем. Счета. Банковские выписки. Запросы по кредитным картам. Еще счета. Каталоги, реклама местных читательских клубов, объявления о продаже инвалидных кресел, приборов для улучшения кровообращения, новых садовых украшений, солнечных батарей... Я вздыхаю. Грустно думать, к каким мелочам можно свести человеческую жизнь, сколько в ней сиюминутного и преходящего.

Появляется Иви, несущая в каждой руке, обтянутой резиновыми перчатками, по объемистому мусорному пакету. Интересно, перчатки она с собой принесла? Может, у нее целый защитный костюм припрятан в сумочке от «Прада»?

– Столько всего нужно перебрать! – выдает она вибриру-

ющую трель. – Как после благотворительной распродажи. – Она проскальзывает с набитыми мешками в дверной проем и выходит в коридор, откуда возвращается уже с пустыми руками. – Надо было заказать мусорный контейнер!

Горло у меня каменеет и сжимается, как будто неуклюже огромные слова застряли в нем и перекрыли воздух. Я смотрю, как Иви стягивает один перчаточный палец за другим и со щелчком возвращает на место – такими быстрыми и четкими движениями, будто проводит медицинскую процедуру. Лак у нее на ногтях темно-сливовый, похожий на застарелые пятна крови.

– Бедная Бекки. – Она знает, что я не люблю, когда она меня так называет: слишком фамильярно. – Это так ужасно – потерять мать после всего, что ты пережила. Она выдерживает паузу. – Так жаль, что Эдди не смог прийти тебя поддержать.

Есть ли тут хоть капля искреннего участия, или Иви просто старается показать свое превосходство?

– Я хочу сказать, это все-таки уже немножко за гранью – не побыть с тобой в день похорон матери. Тем более что ты такая хрупкая.

Меня злит, что Иви настолько в курсе того, в какую яму скатилась моя жизнь. А еще хуже – что она совершенно права. Слезы щиплют глаза, но не плакать же при Иви. Я поднимаюсь на ноги.

– Мне нужно покурить, – бормочу я и спасаюсь бегством.

На самом-то деле я не курю – и никогда не курила. Я сижу на бетонных ступеньках и тычу дрожащими пальцами в экран телефона, пытаюсь выбрать из списка свой домашний номер. Мне нужно услышать голос Эдди: это меня успокоит.

Когда я со слезами рассказывала ему о том, какие ужасные стихи из Библии выбрал Джеймс и какое казенное место нашел для траурной церемонии, Эдди прижал меня к себе и дал выплакаться у него на груди. Но едва я упомянула о том, что его костюм нужно отдать в химчистку, он посмотрел на меня так, словно я нанесла ему смертельную рану.

– Бекс, ты ведь в курсе, с костюмами и похоронами не ко мне. Я художник! – Он провел рукой по своей буйной темной шевелюре, раздраженный таким непониманием глубинного свойства его натуры. – Послушай, ты знаешь, как я любил твою маму. Я бы с радостью помог тебе устроить ей достойные проводы. Но сейчас никак – пойми, Ребекка, у меня же выставка! Тут не то что дня – часа терять нельзя! Да и какой смысл? Дженни больше нет, и ей в любом случае был бы поперек горла весь этот ритуал и пустая церемония. Она бы сказала: «Бога ради, Эдди, ты должен сделать все, чтобы твоя выставка имела успех. Это же очень важно».

Да, мама именно так и сказала бы. В тот миг я почувствовала себя жалким ничтожеством. Но это было до вчерашнего

телефонного разговора, который изменил все. Он звенел у меня в голове всю ночь, бился о стенки черепа, то тут, то там откалывая по краешку кусочки мыслящей материи, и в конце концов я встала, отупевшая и безучастная, не проспав, наверное, и двух часов. Мне хочется рассказать Эдди об этом звонке. Но нельзя: это слишком эгоистично. Он и так через многое прошел вместе со мной. Расскажу после выставки, а пока я хочу только услышать его голос, хочу виртуального объятия от человека, с которым прожила десять лет.

Мы так и не поженились по-настоящему: Эдди сказал, что брак – мещанский социальный конструкт, придуманный для обуздания человеческой индивидуальности. «Покрасоваться в шикарных нарядах, чтобы куча людей, которые тебе даже не нравятся, накупила тебе подарков, которые тебе даже не нужны, а потом напилась и наелась до отвала за твои денежки, которых у тебя нет, – это глупо!» Я была отчасти согласна: нам не требовалась бумажка для доказательства того, как сильно мы любим друг друга, и религиозность нам обоим не свойственна. А кроме того, мы сидели на мели.

Но если бы мы поженились и если бы Эдди пошел со мной на мамины похороны, я бы чувствовала себя более защищенной от этого мира, в том числе и от колкостей Иви, хотя на общем фоне это сущая мелочь.

Этот общий фон снова обступает меня со всех сторон. Я отбрасываю его на задворки сознания и нажимаю наш домашний номер в списке контактов. Гудки ожидания все идут

и идут. Я представляю, как телефон звенит в гостиной нашей лондонской квартиры, как звук отдается от стен, от разномастной мебели, от пустого экрана телевизора, от полузатертых штор. Я продолжаю звонить – на случай, если Эдди в другой комнате, но уже понимаю, что его там нет. Обрываю звонок, пытаюсь дозвониться на его мобильный, и на мгновение сердце у меня замирает, когда я слышу его голос, а затем падает, когда я понимаю, что это всего лишь голосовая почта. Вероятно, он в студии, заканчивает последние работы для выставки. Для него это заманчивая возможность, и он честно заслужил свой глоток воздуха, свой судьбоносный лучик удачи, который так нужен любому художнику.

Вернувшись в квартиру, я с облегчением вижу, что в гостиной никого нет, хотя мебель за это время украсилась разноцветными наклейками: белые – на диване, кресле, журнальном столике, книжном шкафу; красные – на телевизоре и зеркале георгианской эпохи, принадлежавшем некогда бабушке Джо. Я хмурюсь. Где-то наверху скрипят балки: Джеймс на чердаке, роется в поисках чего-нибудь пригодного для продажи среди обломков маминых надежд и увядших мечтаний.

Собравшись с силами, я выбрасываю каталоги и спам в мусорный мешок, складываю в стопку письма, похожие на официальные. И успеваю перебрать больше половины стопки, прежде чем в руках у меня оказывается адресованный миссис Женевьеве Янг бледно-голубой конверт, подписан-

ный твердой рукой.

Я вскрываю его. Внутри – два сложенных листка почтовой бумаги марки «Бэзилдон Бонд», исписанные неровным почерком.

«Дорогая Дженни...»

Видимо, это от кого-то, кто хорошо знал маму, раз называет ее этим мало кому известным уменьшительным именем.

«Я вынуждена просить тебя приехать немедленно!!!»

Слово «немедленно» подчеркнуто так яростно, что перо прорвало бумагу.

«Эти черти стали поговаривать о том, чтобы упрятать меня в дом престарелых, хотя смешно называть это казенное заведение домом. А я туда не хочу!!! Пусть мне уже давно девяносто стукнуло, пусть кто-то скажет, что стукнуло прямо по голове, но я еще не выжила из ума! Чайнарс – мой дом. Мой любимый дом. В этом доме я родилась и в нем намерена умереть! Меня отсюда только ногами вперед вынесут!!!»

Ужасно досадно, когда не можешь подняться по лестнице. Износ плоти – дело суровое. Сходить в уборную – все равно что совершить экспедицию на Северный полюс. Я всегда ненавидела холод. Жаркие страны куда приятнее. Когда-то я бродила по пустыне Сахара...»

Кто это пишет? Я переворачиваю последнюю страницу и вижу витиеватую подпись внизу: «Твоя кузина, Оливия Китто». Буква «К» украшена такими причудливыми завитушками, будто выведена чернилами в елизаветинские време-

на. Имя всколыхнуло во мне далекие воспоминания – давний семейный отпуск в запахах водорослей и соленой воды. Окруженные скалами озера, сети для ловли креветок, бедра трет жесткое, все в песке, полотенце. На конверте написано: Чайналс, Порт-Энис, Корнуолл. Индекса нет, словно этот дом находится не в современном мире, а где-то в Нарнии.

«Милая старая чудачка, – слышу я голос отца. – Бабулька с приветом».

Это у нее мы гостили? Да, теперь я припоминаю ту давнюю поездку в Корнуолл. Смутный образ огромного дома, запах, от которого щиплет в носу, странное чувство тревоги...

«Мне нужно, чтобы ты помогла привести Чайналс в порядок, тогда я смогу доживать свой век в собственном доме. В социальной службе говорят, что в доме должна быть нормальная ванная. Нормальная ванная!!! Да кто они такие, чтобы решать, что нормально, а что нет? Бюрократы чертовы! Я и так прекрасно ополоснусь. Я войну пережила, говорю я им. Тогда у нас никаких горячих ванн и электрических душей и в помине не было. В гробу я видела их “здоровье и безопасность”! И у них еще хватило наглости возмущаться по поводу Габриэля! Моего единственного друга, с которым мы уже столько лет вместе! Обозвали его грязным и негигиеничным.

В былые времена Чайналс был красив, да и я, пожалуй, тоже. Сейчас мы оба уже порядком одряхлели. Со мной-то уже

дело дохлое, но, Дженни, дорогая, мне нужно, чтобы ты помогла привести в порядок дом. *Humilitas occidit superbiam*² и все такое, но мне только это и остается – уповать на твое милосердие. Ведь у меня только вы и остались из родных – ты и твоя девочка, такая милая и воспитанная, правда, как ее звать, не припомню. Больше мне некому довериться!!! Они кружат надо мной, как стервятники. Если ты приедешь, мы их живо выставим отсюда! Чтобы духу их тут не было!!! Вот приедешь, и я тебе все расскажу. Ночевать можешь в комнатах наверху: они в идеальной сохранности!!!»

Множественные восклицательные знаки, подчеркивания и зубодробительная латынь настораживают, но мне становится жаль бедную старушку, сраженную болезнями, немощью и хитроумными маневрами социальных служб. Ей, думается, нелегко было перешагнуть через свою гордость и попросить о помощи.

– Что это?

Появляется Джеймс с большой картонной коробкой в руках. Я сворачиваю письмо.

– Да так, ничего, письмо от какой-то старой чудачки.

Папино словцо.

Я смотрю, как Джеймс ставит коробку на пол, и рубашка у него вылезает из брюк. Красных холщовых брюк. Кто носит красные холщовые брюки в тридцать лет? Мужья членов совета Тори, очевидно.

² Смирение побеждает гордыню (*лат.*).

– Что нашел? – спрашиваю я.

– Да всякую чепуху. Ты знала, что она даже те отвратительные старые шторы не выбросила, те, что висели в столовой в старом доме, с гигантскими макаками?

Я знаю. Мама постоянно обещала их мне: «Когда вы с Эдди купите собственное жилье». В горле снова застрял комок.

– И больше ничего?

– Кое-какие личные бумаги. Наверное, нужно посмотреть, нет ли там чего важного, прежде чем отсюда все вывезут.

– Вывезут? Но мы даже не обсуждали...

Мой брат пожимает плечами.

– Это единственное разумное решение, Бекс. Мы же все живем далеко: мы в Суррее, ты в Лондоне. Не станем же мы без конца кататься в Уорик и обратно, а жизнь берет свое, знаешь ли. Тут кучу дел придется разруливать, а ты сама понимаешь, что это не твоя сильная сторона... Вот поэтому мама и попросила меня и Иви со всем разобраться.

Так, значит, мама сама пригласила Иви сюда, в свое неприступное убежище. В носу у меня так щиплет, что я моргаю не переставая. Обжигающие слезы выкатываются из уголков глаз и текут по щекам.

– Ох, боже мой... ну вот видишь? Мама знала, что ты с этим не справишься. «Пусть Ребекка выберет украшения и картины, которые она захочет оставить себе, – сказала она. – А от остального избавься. Там ничего стоящего нет, я знаю».

Ничего стоящего... Выходит, мама все это время пони-

мала, что не живет, а существует среди гниющих осколков нашей разбитой семейной жизни. Среди всей боли и предательства, жестокости и печали... Я чувствую, что сердце у меня вот-вот разорвется.

Джеймс все говорит и говорит, и до меня долетают отдельные слова из этого звукового потока.

— ...Договор аренды... доверенность на представление интересов... страховые документы...

Я провожу рукой по щекам, вытирая слезы, и делаю усилие, чтобы сосредоточиться.

— ...Установить подлинность завещания и заполнить все документы. Просто проверь все и посмотри, есть ли там что-то, что нужно сохранить.

И он снова уходит, чтобы взглянуть на Иви и на то, как продвигается ее рейд по спальням.

Я возвращаюсь к письму Оливии Китто. Какое милое имя! Я и не знала, что у нас в семье есть Китто: настоящая корнуольская кузина. Бедная старушка, на которую в трудную минуту налетели бесцеремонные чиновники со своими придирками, обратилась к моей матери... но слишком поздно. Я пробегаю глазами первую страницу, но там нет даты, а почтовый штемпель на конверте размазан. Интересно, сколько это письмо здесь пролежало? Несколько недель? Тогда Оливия уже в доме престарелых или, еще хуже, на том свете. Но что, если нет? Что, если она томится в больнице и ждет, когда ее спасет последняя оставшаяся в живых родственница?

В голове у меня мелькает безумная мысль. А что, если мне попробовать заменить маму и доказать, что я тоже на что-то гожусь? Я могу поехать в Корнуолл и выяснить, что нужно сделать, – вдруг и сумею чем-то помочь. И надо же сообщить бедняжке Оливии, что мама умерла. Мне нужно сосредоточиться на чем-то позитивном, и вот Вселенная дает мне шанс. Это же подарок, правда? Подарок и для Оливии, и для меня – для нас обеих, несчастных и страдающих.

Ощувив прилив энергии, я сжигаю остальную гору писем, набиваю пакет рекламным мусором, а оставшиеся официальные бумаги складываю аккуратной стопкой. В куче корреспонденции возле маминого кресла обнаруживаются еще письма от нашей кузины из Корнуолла. Я как раз перебираю их, когда вновь появляются Джеймс и Иви: Джеймс – с битком набитыми мусорными пакетами, Иви – с картонной коробкой. Джеймс выставляет мешки в коридор, а затем возвращается, вытирая ладони о брюки.

– Надо бы поторапливаться, – говорит он.

– Сегодня на ужин придет градостроительница с мужем, – весело говорит Иви, глядя на меня поверх коробки. – Я хотела перенести встречу, но иногда полезно отвлечься на что-то практическое, как ты думаешь?

Я настолько ошеломлена, что не могу подобрать слов и просто смотрю на своего брата-близнеца в недоумении. Он, надо отдать ему должное, выглядит смущенным.

– Прости, Бекс. Жизнь продолжается, да?

Я сглатываю комок и киваю. Поднявшись на ноги, начинаю складывать стопку официальной корреспонденции в картонную коробку.

– Подбросить тебя до станции? – спрашивает Джеймс.

Я качаю головой.

– Я еще немного побуду здесь.

Иви наклоняется ближе, чтобы послать мне воздушный поцелуй, и я чувствую аромат ее духов – мускусных, дорогих, к которому примешивается легкий запах резиновых перчаток.

– Шкатулку с драгоценностями твоей матери я оставила на кровати, – говорит она, кивая в сторону спальни. – Там одна дешевая бижутерия, но, может, ты решишь оставить что-нибудь на память. И еще, – она передает коробку Джеймсу, лезет в сумочку и протягивает мне рулон красных наклеек. – Наклей это на те картины, которые хочешь сохранить, чтобы их не забрали, когда придут вывозить вещи. – Она отстраняется. – И знаешь, дорогая, тебе бы лучше не курить...

Многозначительная пауза.

Я пристально смотрю на наклейки, а потом на Джеймса.

– Береги себя, сестренка, – говорит тот, проталкивается плечом вперед в узкую дверь мимо меня, и вот их обоих уже и след простыл. Я почти чувствую, как квартира вздыхает с облегчением: надругательству конец.

Я иду в мамину комнату. Следов разбойного налета Иви там почти не видно, но когда я открываю дверцы шкафа,

то обнаруживаю, что внутри не осталось ничего, кроме запаха камфары и пары десятков пустых вешалок. Шкатулка с драгоценностями лежит на покрывале в цветочках, брошенном на кровать, на которую мама не ложилась уже два месяца. Ничего от нее не осталось, ничего, кроме пустоты. С тяжелым сердцем я открываю шкатулку и разглядываю ее скудное содержимое: нитки разноцветных бус, коралловое ожерелье со сломанной застежкой, старую брошь-камею, несколько колец... Вот это, с длинным зеленым камнем в серебряной оправе, я помню, мама его носила. Когда я беру его в руки, меня внезапно и властно окутывает аромат ее духов. Je Reviens от Worth. «Я вернусь»... Но нет, она не вернется, никогда не вернется. Я так ясно помню, как она надевала это кольцо, как вытягивала руку, любуясь им. «Не все ли равно, ценное оно или нет? – говорила она. – Да хоть бы оно из хлопущки выпало, я бы его любила все равно. Никогда не носи украшения, которые не любишь».

Ах, мама... Я откладываю кольцо в сторону: оставляю на память.

Подойдя к окну спальни, прикладываю руку к стеклу, и от моего дыхания на стекле расцветает узор, – как раз в тот момент, когда «лексус» Джеймса исчезает за поворотом на перекрестке. Мои растопыренные пальцы выглядят как жест мольбы, а маленький мерцающий камешек в «обручальном» кольце словно подмигивает насмешливо.

Я опять набираю номер Эдди и опять попадаю на голосо-

вую почту.

– Привет, – говорю я в диктофон, – это я, Бекс. Слушай, это довольно сложно, я объясню все как следует, когда мы сможем поговорить, но я уезжаю на несколько дней в Корнуолл. По семейным делам. У тебя как раз будет время закончить последние приготовления к выставке. – Я делаю паузу. – Эдди... Жаль, что ты не смог поехать со мной.

Я нажимаю на красный значок и сижу, уставившись в экран. Зря я это сказала. В этих словах слышится нытье, навязчивость... слабость.

Не совершаю ли я глупую, а то и опасную ошибку? Или это шанс помочь тому, кому сейчас еще хуже, чем мне? Впрочем, вероятно, и не хуже. В конце концов, эта кухня, Оливия Китто, совсем древняя старушка, а я-то, в сущности, и не жила еще.

«Не жалея себя, милая, ты сильнее, чем думаешь».

Иногда кажется, что мамин голос звучит прямо у меня в голове.

«Знаешь, мое обручальное кольцо – просто мерзость. Я его не то что не люблю, оно мне никогда даже не нравилось». Я облизываю костяшку, дергаю, кручу, терзаю распухший, покрасневший палец, пока кольцо наконец не стягивается. Оно лежит у меня на ладони – два витка дешевого девятикаратного золота с одним цирконом в середине. Тридцать фунтов, куплено в дешевом сетевом магазине, которого больше не существует, по случаю... Я даже не могу вспом-

нить, по какому именно случаю. Единственный шанс для нас с Эдди забронировать номер в отеле? Пустой жест? Шутка? В любом случае это не настоящее обручальное кольцо, связывающее два сердца навеки, хотя мне очень хотелось, чтобы это было так, и поэтому я столько времени не расставалась с ним – с маленькой, кричаще безвкусной фальшивкой.

Без него рука выглядит голой, кожа бледной.

Но у меня такое чувство, будто с меня сняли кандалы.

Глава 2

– Вам точно сюда надо?

Я смотрю на дом, смутно вырисовывающийся на фоне лесистого холма. Серый гранит, серые деревья, теряющиеся на фоне серого-серого неба.

Таксист что-то бурчит. Я так взвинчена после дороги, которая заняла почти восемь часов, включая две пересадки и бесконечную беготню по лестницам вокзала с багажом, каждый раз на грани опоздания на поезд, что даже не переспрашиваю. Большую часть пути я пыталась убедить себя в правильности собственного решения, но чем дольше поезд полз по самому длинному графству страны, тем сильнее таяли мои надежды, уменьшаясь буквально с каждой милей.

– Пятнадцать семьдесят пять, – говорит водитель – похоже повторяясь, и даже без всяких «пожалуйста».

С ума сойти! Мы же всего-то три мили проехали.

Я протягиваю ему драгоценную двадцатифунтовую купюру и демонстративно забираю сдачу целиком. Водитель, пытаясь, выбирается из машины, открывает багажник и выволакивает мой чемодан на обочину, где тот тут же падает. Не подняв его и не сказав ни слова на прощание, таксист садится обратно в машину, захлопывает дверцу, сердито разворачивается в пять приемов на узком пяточке и уезжает прочь по разбитой дороге, оставив за собой клубящееся облачко пы-

ли.

На воротах перед домом нет названия – я даже не знаю, туда ли приехала. Дом смотрит на меня мрачными слепыми окнами.

Я достаю телефон, чтобы сообщить Эдди, что добралась. Сигнала, разумеется, нет. Чувство, что я совершаю колоссальную ошибку, начинает усиливаться. Разве я знаю, как помочь старой женщине? Я свою-то жизнь так исковеркала, что слишком самонадеянно брать на себя чужие проблемы. Но, похоже, другого выхода нет: нужно войти, поздороваться и сообщить печальные новости. А потом, может быть, вызвать такси и убраться отсюда.

Подхватив чемодан, я вхожу в ворота и пробираюсь сквозь буйную растительность. Гроздья ярко-оранжевых цветов пламенеют над бледными листьями, крапива так и норовит уцепиться за мое пальто. Среди всего этого откуда-то пробивается запах лаванды.

Наконец, задыхаясь от натуги, я добираюсь до лачуги с крыльцом, на котором из-под облупившейся, неопределенного оттенка краски проступает серебристое дерево. Трупки давно умерших насекомых покачиваются в густой паутине по углам. По обе стороны крыльца тянутся пыльные полки, заставленные всякой всячиной. Панели витражного стекла обрамляют старомодный дверной звонок, на который я нерешительно нажимаю. Звонок издает усталый дребезжащий звук, как будто я привела в действие какой-то неисправ-

ный механизм. В ответ – настороженная тишина, словно дом затаил дыхание, ожидая, когда я сдамся и уйду. Затем резкий голос:

– Иди на хер, говна кусок!

В испуге я делаю шаг назад и спотыкаюсь о свой чемодан. Хватаюсь за перила крыльца, чтобы устоять, но все равно падаю спиной вперед. После громкого треска наступает долгий миг неизвестности – словно какая-то важная часть мира висит на волоске, – а затем вся шаткая конструкция со скрипом рушится, осыпая меня осколками гнилого дерева и стекла. Перекатившись с боку на бок, я успеваю убраться от греха подальше как раз перед тем, как островерхая крыша крыльца, словно миниатюрная пирамида, приземляется посреди всего этого разгрома.

Приподнявшись и сев, я обнаруживаю, что у меня ноет копчик и расцарапана ладонь. Правая лодыжка болит. Я сгибаю ногу для проверки. Не сломана. Я поднимаю взгляд на дом, на голый кусок гранита, который наверняка не один век прикрывало это крыльцо, пережившее взлеты и падения королей и королев и две мировые войны, и мне делается дурно.

Дверь, несмотря на шум, остается закрытой, в темных окнах не видно ничьего лица, и через некоторое время становится ясно, что выходить никто не собирается.

Мои вещи высыпались из чемодана и разлетелись по ступенькам: трусы, косметика и запасная одежда вперемешку с письмами и блокнотами. А потом небо чернеет, и на меня

обрушивается дождь, мгновенно заливающий все вокруг.

Я кое-как спускаюсь по ступенькам, полуослепшая от потоков воды, чертыхаясь от досады, и торопливо собираю письма, пока они не размокли и их не унесло бурей. Я так увлечена, что не слышу шагов, пока перед глазами не появляется пара ног, обутых в гигантские растоптанные башмаки с разномастными шнурками.

Убрав с глаз мокрые волосы, я вглядываюсь в морщинистое, как высохшее яблоко, лицо, окруженное, словно нимбом, кривобоким зонтиком для гольфа с двумя-тремя сломанными спицами, висящими вниз.

– Осторожно, пташка, не обстрекайся, – говорит лицо и протягивает мне что-то черно-зеленое.

Мои самые модные трусики, в которых запутался стебель жгучей крапивы. Крапиву, чтобы она не жалила, нужно хватать твердой рукой, а твердость – то, чего мне всегда не хватало в жизни, и сейчас тоже. Я раздражаюсь слезами.

– Ну-ну, не расстраивайся так. – Человек с зонтиком засовывает мое белье в карман и протягивает огромную ладонь. – Господь посылает нам невзгоды, чтобы испытать нашу веру.

Я принужденно улыбаюсь.

– Да ничего, все в порядке.

– Вот и чудненько. Давай-ка.

Рука ныряет мне под мышку. В шоке от такой бесцеремонности я вскакиваю на ноги, держа разбитый чемодан, из которого одежда вываливается, будто кишки из распоротого

живота.

– Прошу прощения за крыльцо, – говорю я.

Человек с зонтиком наклоняется, чтобы поднять корзину.

– Оно и держалось-то на паутине да на воспоминаниях.

Это и есть Оливия Китто? Она – или он? – на вид и впрямь довольно стара. Но если это кузина Оливия, то кто же только что ругался?

Человек в тяжелых башмаках словно читает мои мысли.

– Я Джеремая Спэрроу. Люди зовут меня Джем, – говорит он, прикрывая меня сломанным зонтом, хотя этот любезный жест несколько запоздал. – А ты кто будешь? Она никогда не жаловала чужаков.

– Я Ребекка Янг. Я приехала вместо мамы, потому что она...

Я не могу заставить себя выговорить это слово.

Лицо у Джема становится настороженным.

– Вот как? Она никогда не говорила о тебе. Зачем ты здесь?

– Кузина Оливия написала маме, просила приехать помочь ей.

Джеремая замирает. Затем поворачивает голову к дому и пристально глядит на него из-под полуопущенных век.

– Вот, значит, как? – тихо говорит он. – А нам с хозяйкой об этом ни слова. – Он снова смотрит на меня. – Ну а я пришел навестить Габриэля.

Габриэль... Теперь я вспоминаю: в письме к маме Оливия

упоминала некоего друга. Негигиеничного друга. С некоторым трепетом я иду за Джемом к двери, он открывает ее, и мы оказываемся в мрачной прихожей.

Внутри дом кажется огромным, гораздо больше, чем снаружи. Длинный коридор, обрамленный обшитыми панелями стенами, уходит куда-то вдаль и теряется в полумраке. Лестница поднимается в темноту. Здесь пахнет плесенью и еще чем-то похуже. Я опускаю чемодан на плиточный пол, готовясь приветствовать престарелую родственницу. Джем не объявляет о своем приходе, просто шагает через холл и щелкает выключателем. Ничего не происходит.

– А, черт тебя подери... Клянусь, в этом доме привидения водятся. – Он отходит вглубь прихожей, достает из шкафа алюминиевую стремянку, устанавливает ее под распределительной коробкой и неуклюже взбирается на верхнюю ступеньку.

– Где же мисс Китто? – спрашиваю я. Джем что-то бурчит, копаясь в густом клубке проводов, и я с замиранием сердца понимаю, что уже знаю ответ. На письме не было даты. Сколько оно пролежало нераспечатанным в маминой квартире? Недели, месяцы? По какой-то жестокой симметрии обе женщины ушли из жизни в одни и те же дни?

Мои мысли прерывает голос Джема:

– Если ты пойдешь в гостиную и откроешь ставни, мне хоть будет видно, что делать.

Я подхожу к первой двери слева. Латунная ручка ложится

мне в ладонь, и засов со скрипом поддается. Когда я вхожу в полумрак, в нос ударяет резкий, как горчица, запах. А потом я каким-то первобытным инстинктом ощущаю на себе пристальный взгляд. Неужто кухня Оливия сидит в темноте и наблюдает за мной? Или ее тень устроилась в одном из этих громоздких мягких кресел – злобный призрак, готовый напугать до смерти любого, кто осмелится переступить порог? От этой мысли становится так неудобно, что я скорее бегу к окну.

Едва я кладу руку на задвижку, как в воздухе чувствуется какое-то колыхание, и мимо моей головы проносится что-то невидимое.

– Блэээк! Блэээк!

Что-то задевает меня по лицу, и я вскрикиваю. Распахнув ставни, чтобы впустить в комнату свет, я поворачиваюсь лицом к демону... а тот недоброжелательно смотрит на меня холодным, белесым глазом с верхушки торшера.

Это попугай. Серый попугай с крючковатым клювом и акkuratным веером малиновых перьев в хвосте. Я мгновенно переношусь в те давние корнуолльские каникулы – в большую солнечную гостиную, где мы с мамой сидели бок о бок на обтянутом ситцем диване и жевали ароматный желтый хлеб, щедро намазанный маслом и усыпанный кусочками сухофруктов, а с книжного шкафа внимательно наблюдала за каждым нашим движением большая серая птица. Я тогда не выдержала, отвела взгляд, и в тот же миг она, расправив кры-

ля, спланировала вниз, вонзила чешуйчатые серые когти в мой шафрановый пирог и с громким шелестом перьев удалилась обратно на шкаф, где и принялась поглощать свою добычу. Но не может же это быть одна и та же птица? Сколько лет живут попугаи?

– Впредь не зевай! – рассмеялась тогда Оливия. – Если Габриэль чего-то хочет, он свое возьмет. – И, повернувшись к нему, спросила: – Что о тебе подумают наши гости? Не знаю, почему мы назвали тебя в честь ангела, ты же сущий дьявол!

– Завали хлебало! – рявкнула птица.

Мама охнула, а я зажала рот руками, словно это я, а не птица, произнесла запретные грубые слова. Но старушка смеялась, попугай переминался с ноги на ногу, чрезвычайно довольный собой, а на меня вдруг напал такой смех, что даже мама улыбнулась.

Как я могла забыть о таком странном происшествии?

Сейчас комната выглядит меньше и гораздо более обшарпанной. Ситцевые розы выцвели почти до неразличимости, все вокруг покрыто пылью и птичьим пометом.

Джем появляется в дверях.

– Вижу, ты нашла Габриэля, – говорит он, и при виде его Габриэль испускает вопль банши, а затем выдает непонятное:

– Меси мешки!

Джем морщится.

– Иногда он совсем как человек. – Он тычет пальцем в птицу. – Опять вскрыл замок, паршивец ты этакий? Шею бы свернуть этому говнюку. – Он бросает на меня острый взгляд. – Извини за такие выражения. Не думаю, что ты захочешь здесь остаться: говорят, попугаи много болезней переносят.

– Да-да, пситтакоз, – говорю я: это слово первым подворачивается на язык. – Но я уверена, что тут можно все убраться. – Я оглядываюсь вокруг. – Думаю, летом это прекрасная комната: столько окон, вид на сад... – И на обломки крыльца. – Но кухня Оливия, видимо, уже давным-давно здесь не бывает. Где же она?

Я боюсь услышать ответ.

Джем отвечает каким-то непонятным словом, а потом добавляет:

– В больнице. Упала, сломала ногу.

Я чувствую, как все сжимается внутри при самом слове «больница». До чего же я их ненавижу.

– Как же так? Как она себя чувствует?

Джем отвечает невеселой улыбкой.

– Если бы ты знала ее, ты бы больше за медсестер беспокоилась.

– С характером, да?

– Сущяя чертовка.

Он делает шаг к птице, и та подпускает его, но затем взмывает в воздух, проносится мимо его головы к книжному шка-

фу. Там она и сидит, издавая звуки, похожие на удар прутом по мягкому месту. Щелк, щелк, щелк! Звук ехидный, торжествующий.

– Когда-нибудь я сверну тебе шею, приятель. В свое время я немало кур порешил. – Джем снова поворачивается ко мне. – Моя хозяйка присматривает за мисс Оливией, но в эту комнату она ни ногой.

Что это он – пытается сменить тему?

– А больница далеко? Я должна навестить Оливию.

«Вот ты и схватила рукой крапиву, милая. Молодец!»

– В Труро, – отвечает Джем.

Я помню, как проезжала мимо Труро на поезде, – симпатичный городок, окружающий собор в ложбине между невысокими холмами. Но по моим ощущениям путь от Труро до Пензанса занял целую вечность, и мысль о том, что сейчас, под вечер, придется тащиться на вокзал, а потом в Труро и обратно, пугает.

Джем замечает, что я упала духом.

– В деревне есть паб, и там сдают номера – стоит переночевать. А завтра моя хозяйка может отвезти тебя в Труро, проведать мисс Оливию.

С минуту я раздумываю. Последние месяцы не в том я состоянии, чтобы много работать, и на банковском счете почти пусто.

– Если вы не против, я переночую здесь. Оливия написала в своем письме, что наверху все в идеальном состоянии.

Можно так?

Джем кривится.

– Как знаешь, пташка. Если останешься, покорми Габриэля. В кладовке есть для него еда.

И с этими словами он уходит, оставив меня одну. С попугаем.

Габриэль смотрит на меня мрачным взглядом.

– Что мне с тобой делать? – спрашиваю я.

– Иди на хер, – говорит он так тихо, что это звучит почти ласково.

– Какой ты грубиян.

Я иду через комнату, лавируя между островками птичьего помета, но, когда берусь за ручку двери, на мое плечо обрушивается гигантская тяжесть – это Габриэль налетает сверху и впивается когтями в мое пальто. Я кричу, и попугай повторяет мой крик точь-в-точь, да так, что у меня барабанные перепонки звенят. Затем он снова взмывает, усаживается на крышу своей клетки и принимается чистить перья с таким видом, будто все это просто безобидная игра.

* * *

Теперь, когда Джем починил электричество, холл освещает электрическая лампочка без абажура, и освещает с беспощадной яркостью. В плитку и дорожки въелась многолетняя грязь; обои в цветочек поблекли, превратившись в

непривлекательную палитру коричневых оттенков, напоминающих засохшие полевые цветы. За лестницей в холле стоят безмолвные напольные часы, отбрасывая тень, как от великана-часового. Не слышно ни тиканья, ни звона, а в окошке, открывающем внутренности часов, виден неподвижно висящий маятник. Красивая антикварная вещица, но я, пожалуй, рада, что они неисправны: есть ли что-то более жуткое, чем звон часов в ночи, разносящийся эхом по пустому дому?

За часами – ряд закрытых дверей. Я открываю первую и попадаю в столовую с массивной темной мебелью, с фарфором, расставленным как для ужина, словно с корабля «Мария Селеста».

Напротив – две узкие двери. Первая открывается в проем под лестницей, где сложены веники, ведра и та самая стремянка, на которую забирался Джем. Когда я пытаюсь открыть соседнюю дверь, она оказывается запертой. Железная ручка ледяная, и на мои голые ноги дует холодом.

В конце коридора – еще одна дверь, закрытая на защелку. Я открываю ее, щелкаю выключателем – старомодным, латунным, с шариком на конце – и оказываюсь в пропахшей сыростью комнате со старинной плитой и парой грязных неглубоких медных раковин под окном. На полу – металлическая бадья, кажется, тоже медная, в пятнах ярь-медянки. К дальней стене прислонено какое-то странное приспособление с деревянной ручкой, а рядом – кафельная столешни-

ца, на которой стоит блюдо с яблоками и мешок с надписью «“Притти бой” – корм для попугаев».

К двери тянется прорезанная в полу канавка. Для стока воды? Или, еще того хуже, крови? Меня пробирает дрожь. В комнате так холодно, словно она впитала в себя добрую сотню зим. Это как шагнуть на век назад. Но у меня такое чувство, что призрак тут я.

Я возвращаюсь в коридор и исследую его дальше. За следующей дверью находится что-то вроде кухни, состоящей из ветхого набора деревянных шкафчиков, старой плиты, батлеровской раковины и холодильника высотой мне до подмышек, с надписью «Electrolux» шрифтом, который уже лет пятьдесят никто не использует. Бледно-голубой интерьер кухни украшен сложной системой лепных украшений, на которых уместилась бутылка молока, что-то в коричневом бумажном пакете – как выясняется, полбуханки хлеба, – блюдечко с маслом, полпачки шоколадного печенья для улучшения пищеварения и несколько яиц. Я беру бутылку и осторожно нюхаю. Сколько там, по словам Джема, Оливия уже лежит в больнице? Пару недель? Но плесени нет, и кислым не пахнет. Кто-то пользовался этой кухней – возможно, жена Джема, когда приходила делать уборку в доме. Меня это несколько успокаивает: по крайней мере, с ужином забот не будет. Центральная дверца плиты еще теплая на ощупь, а заглянув внутрь, я вижу отблески тлеющих углей – судя по всему, кто-то только что был здесь и разжигал огонь.

Я вновь ощущаю на себе чей-то взгляд и, обернувшись, вижу над деревянным столом портрет молодой женщины с пронзительными черными глазами. Рукава у нее закатаны, на руках, сложенных под грудью, со сдержанным вызовом проступают мускулы. Одежда ее выглядит мужской, лицо выразительное, костистое. Плененная мастерством художника, я забываю о своих суеверных страхах. Картина написана гораздо более текстурно, чем можно было бы ожидать, — как будто масляную краску наносили не кистью, а мастихином. Стиль свободный, смелый, свет выписан яркими пятнами кадмия.

Продолжая осмотр, я обнаруживаю еще две комнаты: в одной шкафы полны книг, а возле дровяного камина стоит кожаное кресло; в другой — раскладная кровать, застеленная одеялами, и фонарь со свечой на самодельном столике рядом с ней. Груда одежды в углу явно нуждается в стирке, а за ширмой с ручной росписью, изображающей Адама и Еву в райском саду, стоит необычайно огромный, но, к счастью, пустой фарфоровый ночной горшок Викторианской эпохи от «Флоу блю». Ухмылка быстро сползает у меня с лица, как только я вспоминаю слова из письма о походе в «уборную», сравнимом с полярной экспедицией. О господи... Я тут же ощущаю настоятельную потребность сходить в туалет.

Я бегу вверх и распахиваю дверь за дверью. Спальня. Спальня. Кладовка. Спальня. Шкаф для постельного белья...

Туалета нет.

– Ни за что... – говорю я вслух, сбегая обратно по лестнице, – ни за что не сяду на этот чертов горшок! Лучше умру!

Мой голос замирает в пустоте дома.

Из гостиной доносится сардонический смешок.

Дверь из буфетной выходит на неровную мощеную площадку, камень под ногами покрыт лишайником. В сгущающемся мраке, сквозь все еще накрапывающий дождь, я различаю кирпичный сарай. Бегу к нему и распахиваю дверь. Там стоит треснувший фаянсовый унитаз. Темные пространства между высоким бачком и потолком покрыты паутиной, ею же затянуты щели между кирпичами и облеплен держатель для туалетной бумаги с превосходным рулоном «Изаль». Меня передергивает. А не лучше ли все-таки горшок? Нет! Я просто не могу.

Я шарю рукой в поисках выключателя. Его нет. Я чувствую, как стены моего самообладания начинают рушиться.

«Держи себя в руках, Бекки», – мягко укоряет мамин голос.

Сидя в темноте на холодном бакелитовом сиденье, под мириадами паучьих глаз, я проклинаю свой импульсивный порыв. Кажется, что я уехала не просто на триста миль, а на триста лет назад.

Глава 3

На следующее утро я скатываюсь с кровати в одной из комнат наверху – в той, где оказалось меньше всего плесени, – подхожу к окну и раздергиваю тяжелые шторы, ожидая увидеть серый пейзаж и потоки дождя. Вместо этого я чувствую на лице солнце – словно благословение. Вдали, на горизонте, море и небо сливаются друг с другом. Блестки света сверкают, будто рассыпанные сокровища, на невысоких волнах. Вдалеке бороздит просторы залива одинокий краболовный бот, неуклюжий и приземистый, как игрушечный кораблик. На востоке – окутанная туманом, словно легенда, гора Сент-Майклс-Маунт – легкий контурный набросок диснеевского замка, поднимающегося из моря.

Вот таким я всегда и представляла себе Корнуолл. Ощущение дикости и уединенности, сказочности и заманчивых возможностей. Воздух так и светится, как будто за ночь все вокруг обновилось. Никакого тебе запаха дизельного топлива или жареного лука из шашлычной, никакого гула автобусов или самолетов. Никаких соседей или плача детей, никаких гулких басов из квартиры наверху. Ничего, кроме криков одинокой чайки, усевшейся на изгородь в переулке.

Когда чайка резко взмывает в голубое небо, я различаю вроде верхушку ворот, просвет в живой изгороди за домом. Интересно, куда эти ворота ведут?

Ощувив внезапный прилив энергии, я натягиваю джинсы и кроссовки и в той же футболке, в которой спала, сбегая вниз. Даже туалет мне теперь не страшен. Оставляю дверь приоткрытой, сижу в солнечных лучах, гуляющих по моим бедрам, и разглядываю заросли красно-оранжевых настурций: их перечный запах висит в воздухе. Потом я мою руки в буфетной, вытираю их насухо чайным полотенцем и убегаю в парадную дверь. Пробираюсь через обломки рухнувшего крыльца, спускаюсь по ступенькам и пересекаю узкую дорожку, где меня накануне высадил таксист, – и вот они! Затянутые сорняками и ежевикой, но восхитительно настоящие маленькие деревянные воротца, покрытые восхитительно облупленной краской.

Засов проржавел, но поднимается легко. Ворота оплетены длинными нитями вьюнков и подмареника. Я обрываю их и с любопытством провожу рукой по резной верхней перекладине. За воротами открываются крутые земляные ступени, виднеющиеся среди зарослей травы, и они ведут к морю.

Я проскальзываю в ворота, оборачиваюсь, чтобы хлопнуть их, и тут мое внимание привлекает ряд косых квадратиков – ромбов, вставленных друг в друга, похожих на длинный ряд глаз, – вырезанных по всей наружной стороне, благодаря чему она выглядит богато и искусно украшенной. В самом доме нет ни ванной, ни каких-то других удобств, зато над простыми воротцами, ведущими к морю, кто-то потрудился! В этом несоответствии есть свое очарование.

Тропинка бежит под уклон пугающе круто, но я тихонько спускаюсь на полусогнутых ногах, раздвигая крапиву и держась за обнаженные корни боярышника, отполированные так, будто их уже давным-давно использовали вместо перил. Я думаю о людях, которые спускались по этой тропе до меня, хватаясь за те же корни: маленькая Оливия, ее родители, их родители... И моя мама. Ведь среди бумаг, которые я нашла возле маминого кресла, обнаружилось и письмо от ее кузины, в которых та вспоминала мамины каникулы в Корнуолле: как мама девочкой гостила здесь, в Чайналсе, у Оливии, вместе с моими бабушкой и дедушкой. Мамин отец состоял в каком-то родстве с матерью Оливии: выходит, эта ветвь семьи отсохла, если мы с мамой остались единственными, к кому старушка могла обратиться. Я представляю, как женщины, стараясь не уронить корзинки для пикника и приподняв юбки, спускаются по ступеням на полусогнутых ногах, совсем как я, а дети, проворные, как обезьянки, резво скачут к морю далеко впереди. Трогая камни и корни, я представляю, как моя мама прикасалась к ним в детстве, и чудесная дуга связи пронзает меня насквозь, словно электрический ток.

Наконец растительность кончается, остается голая скала, и я вижу крошечную бухточку между двумя каменными рукавами, за ними бурлит и бьется прибой. Еще мгновение – и я уже стою на гальке и смотрю на бело-золотой песок, разглаженный волнами, на валуны, усеянные прядями зеленых

и бурых водорослей. Вдыхаю свежий, чистый воздух, люблюсь на сверкающее море. Мир словно говорит: пора начать все сначала.

Сняв кроссовки, я подхожу к воде с кружевной каемкой пены и вначале вздрагиваю от холода, но вскоре уже наслаждаюсь ощущением: волны набегают и откатываются, вымывая песок между пальцами моих ног. За ожерельем скал уплывает на восток лодка, за ней тянется облако белых чаек. Все это могло бы существовать в любое время и вне времени. Я живу в моменте, и мне хорошо.

Я иду по пляжу – разгребаю гальку и водоросли, подбираю то симпатичный камешек, то кусочек мутно-зеленого обкатанного морем стекла, нахожу раковины – конические, спиральные, фиолетовые с жемчужно-белым; маленькие круглые раковины, крепкие, как медь, и золотистые, как английский дрок; иссиня-черные раковины мидий, сдвоенные, будто темные крылья ангелов, а один раз мне попадается белая каури – крошечная, не больше ногтя на моем мизинце, и изгиб ее слегка гофрированных губ манит в розовые глубины, будто потаенная улыбка.

В приливных лужицах среди камней полупрозрачные креветки выскакивают из расщелин, пытаюсь укрыться за завесами зеленой травы от маленьких рыбок – морских собачек. Анемоны, круглые и блестящие, как желе, скопились чуть ниже уровня воды, а по берегам лепятся колонии рачков. Я подкарауливаю одинокого моллюска и успеваю сдвинуть

его на пару миллиметров, прежде чем его крупная желтая нога прилипает к камню намертво. Я вдруг понимаю, что вот так радостно, бесцельно, упоенно не играла с самого детства.

Наконец живот начинает урчать, настоятельно требуя кофе с тостами. Я решаю сходить в деревню за провизией и заодно узнать, не перезванивал ли мне Эдди. Эта мысль приносит с собой тупую боль. Он не отвечал на мои многочисленные звонки, пожалуй, даже голосовое сообщение не прослушал – в поезде я проверяла телефон всю дорогу. Я понимаю: он, наверное, занят, заканчивает роспись своих горшков в студии – корпит над ними, не поднимая головы. Он полностью сосредоточен, когда работает. Я люблю наблюдать за ним в такие минуты: его мастерство и артистизм переполняют мое сердце гордостью. А когда его руки ласкают глину на вращающемся круге, я вспоминаю, как эти руки касались моего тела, хотя и не всегда так же бережно. Можно ли ревновать к глине?

Я счищаю с босых ног песок, натягиваю кроссовки и иду обратно к земляным ступеням. И тут замечаю их: еще одни ворота, но уже из железных прутьев, вделанные в скалу в глубине бухты. Я бреду туда, похрустывая галькой, и вижу за воротами пещеру. Прижимаюсь лицом к ржавым прутьям, но темнота сурова и непроницаема. Вероятно, пещера проходит прямо под дорогой. Или даже под домом. А что, если туда ведет тайный ход из подвала? Тьма за решеткой населяется всевозможными фантазиями: пираты, контрабандисты,

охотники за контрабандистами, революционеры... Отголоски «Мунфлита», «Трактира “Ямайка”» и «Полдарка».

Мне кажется, что засов на воротах должен быть облеплен ржавчиной, но он легко поднимается, и я проникаю в пещеру. Когда глаза привыкают к темноте, я начинаю различать каменные стенки на расстоянии около метра друг от друга и песчаный пол. Я ощупью продвигаюсь внутрь. Холод пробирает до костей.

Дальше в пещере обнаруживается уступ, а затем она снова расширяется. Тут уже совсем темно, но я нащупываю наросты рачков на уровне пояса – выходит, море заходило прямо сюда. «Пройду еще чуть-чуть, – говорю я себе, – посмотрю, может, она там дальше попросту кончается». Пещера начинает уходить вверх по склону. Я шарю руками вверх и вниз по стенкам и вскоре дохожу до точки, где уже не нащупываю ни одной ракушки. «Ну что ж, по крайней мере, не утону», – думаю я лишь наполовину в шутку. Ступаю осторожно, но все-таки ударяюсь ногой о камень. Протянув руку, нащупываю над ним пустоту, а дальше опять камни. Ступеньки? Я поднимаюсь на первую, нашариваю рукой вторую и основание третьей. Вытянув руку над головой, чтобы не стукнуться о потолок пещеры, я поднимаюсь все выше и выше. Кажется, что ступени идут вверх до бесконечности. Я начинаю подумывать, не повернуть ли назад.

«Ну что же ты, Бекс, ты же хотела приключений!»

Хотела ли? Жизнь в последнее время меня не слишком

радует – сплошной мрак. Тревога гложет, но все-таки любопытно узнать, где же кончается этот туннель. Я лезу все выше и выше. Наконец подъем прекращается, и я натываюсь на какое-то препятствие. Приложив к нему ладони, чувствую, что оно не такое холодное, как камень вокруг. Дерево? Дверь? Я осторожно провожу руками сверху вниз, нахожу какие-то углубления – на одинаковом расстоянии, правильной формы, – но ручки нет. Обидно. Придется прийти в следующий раз с фонарем.

Я медленно спускаюсь обратно, упираясь руками в холодные, шершавые каменные стены: не хотелось бы поскользнуться, удариться головой и потерять сознание здесь, где меня никто не найдет. Никто не знает, что я здесь, кроме старика Джема, а тот, скорее всего, решит, что я бросила свою испорченную одежду и уехала домой.

Внезапно меня начинают одолевать мрачные мысли. «А может, это и к лучшему? – нашептывают они. – Вспомни тот телефонный звонок. Только подумай, что ждет тебя в Лондоне. Не лучший ли выход – просто дать морю забрать себя? Тогда это будет твой выбор, и тебе не придется снова проходить через все это: анализы, больницу, трубки, яд... и разочарованное лицо Эдди: “Только этого не хватало, Бекс...”»

У меня начинают дрожать ноги, и на мгновение я ощущаю такую же слабость, как после операции, когда впервые, еле держась на ногах, вышла на центральную улицу, где меня то и дело обгоняли даже восьмидесятилетние старики, и я была

уверена, что вот-вот потеряю сознание.

«Перестань, милая, – мамин голос такой сильный, что почти отдается эхом. – Сконцентрируйся на настоящем, здесь и сейчас. Это все, чем мы владеем по-настоящему».

Отогнав мрачные мысли, я возвращаюсь по туннелю к узкому входу – и тут же слышу шум воды. Прилив начался!

Внезапно я чувствую, как давит на меня тяжесть камня над головой и вокруг. Как в могиле! Шлепая ногами по воде, не опасаясь промочить джинсы и кроссовки, я выскакиваю из пещеры и вот наконец стою по колено в морской воде, вдыхая холодный соленый воздух, чувствуя на лице долгожданное солнечное тепло. Все вокруг изумительно, великолепно яркое.

«Вот и молодец, девочка моя. Шаг за шагом, битва за битвой».

С земляной лестницы, ведущей к морским воротам и дальше к дому, я оглядываюсь на бухту. Вначале она показалась такой безмятежной – словно подарок, предназначенный для меня одной, – но не исключено, что это место обмана и тайн, даров, которые протягивают одной рукой, а другой тут же отнимают.

* * *

Дома, едва закрыв за собой дверь, я слышу шум. И запах чувствую – безошибочно узнаваемый. Я иду по неровно

освещенному коридору на кухню, где и обнаруживаю женщину, помешивающую что-то в кастрюле на плите, – грузную, в пальто и низко натянутой шапке, похожую на состарившегося медвежонка Паддингтона. Я покашливаю, она оборачивается, и я убеждаюсь, что сходство мне не померещилось.

– Вот, позавтракать вам принесла.

На сковороде скворчит бекон, и рот у меня наполняется слюной.

– Большое спасибо. Вы, должно быть, жена Джема?

– Да. Зовите меня Розы.

Она заправляет за уши вьющиеся рыжие волосы. Лицо у нее бледное, невзрачное, возраст определить трудно. Когда она улыбается, меня поражает, какие ровные и блестящие у нее зубы. Не старушечьи, пятнистые и щербатые, а прямо как у какой-нибудь голливудской старлетки. Виниры? Но это обошлось бы в целое состояние. Я вспоминаю Джема, его истрепанные башмаки и сломанный зонтик. Нет, наверное, протезы.

Я достаю две чайные чашки и ставлю рядом с греющимся чайником. Розы берет одну из них – с нарисованными на боку увядающими незабудками – и отставляет в сторону.

– Эту не берите. Это мисс Оливии! – резко говорит она и, порывшись в шкафу, достает другую, украшенную лютиками.

Мы сидим за столом под неодобрительным взглядом порт-

рета и едим яичницу с беконом.

– Мне-то, по правде говоря, не надо бы, – признается Роззи, похлопывая себя по животу. – Я уже поела с Джемом.

– Я бы все равно сама все это не съела.

– Вы совсем тростиночка. – Она встает, начинает убирать тарелки и бросает через плечо: – Джем сказал, вы приехали к мисс Оливии из-за какого-то письма?

– Да, она написала моей маме, просила помощи.

– Да? И что же там было, в этом письме?

– Я сама не все поняла. Надеялась навестить ее в больнице и разузнать точно, что она имела в виду.

– Вот уж не знаю, какая такая помощь ей понадобилась, старой перечнице. Мы с Джемом и так все для нее делаем, и всегда делали, – ворчит Роззи.

– Уверена, что это так, и уверена, что она вам благодарна.

Роззи раздражается смехом.

– Благодарна? От нее дождешься, как же. Ну, если хотите ее повидать, я вас отвезу. Мне все равно нужно навестить отца Джема.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.